

**«ОН МОГ БЫ СТАТЬ ПОДЛИННЫМ УКРАШЕНИЕМ  
НАШЕЙ КРИТИКИ»<sup>1</sup>  
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ О ЛЬВЕ ШЕСТОВЕ**

*Предисл., сост., подгот. текста и примеч. О.А. Коростелева*

К некоторым авторам Г.В. Адамович возвращался всю жизнь и писал о них много раз. Такие отзывы об одном авторе, собранные воедино, позволяют выявить эволюцию и хорошо демонстрируют все извивы мысли прихотливого критика. Уже было опубликовано несколько таких подборок, и они вызвали большой интерес, см., в частности, подборки отзывов Адамовича о Д.С. Мережковском<sup>2</sup>, Н.С. Гумилеве<sup>3</sup>, Андрее Белом<sup>4</sup>. Отзывы о Цветаевой вошли в отдельную книгу<sup>5</sup>.

Не менее важным и значимым автором был для Г.В. Адамовича и Л.И. Шестов.

На первый взгляд это может показаться странным. Адамович обычно воспринимается как человек из окружения Н.С. Гумилева, с сугубо литературными интересами, очень далекий от всякого теоретизирования. Казалось бы, не только в круг его общения, но и в круг чтения Лев Шестов не должен был входить. Но это только на первый взгляд. При более внимательном знакомстве открывается совсем другая картина.

---

<sup>1</sup> Работа выполнена в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01432).

<sup>2</sup> «...А в книгах нет почти ничего» (Г.В. Адамович о Д.С. Мережковском) / Предисл. и сост. О.А. Коростелева // Литературная учеба. 2008. № 2. С. 163–190.

<sup>3</sup> От Цеха поэтов к «парижской ноте»: Георгий Адамович о Николае Гумилеве / Предисл. и сост. О.А. Коростелева // Юность. 2009. № 2. С. 15–24.

<sup>4</sup> «Белый все-таки существо необыкновенное» (Георгий Адамович об Андрее Белом) / Предисл. и сост. О.А. Коростелева // Миры Андрея Белого / Ред.-сост. Корнелия Ичин и Моника Спивак. Сост. Иоанна Делекторская и Елена Наседкина. М.; Белград: Издательство филологического факультета в Белграде, 2011. С. 84–134.

<sup>5</sup> Марина Цветаева — Георгий Адамович: Хроника противостояния / Предисл., сост. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000.

Многие из литераторов младшего поколения эмиграции, в том числе и адепты «парижской ноты», впрямь прошли мимо Шестова. К примеру, В.С. Варшавский в своей книге об эмигрантах младшего поколения<sup>6</sup> обильно цитирует Н.А. Бердяева, Ф.А. Степуна, Г.П. Федотова, С.Н. Булгакова и других властителей дум, но имя Шестова упоминает лишь один раз, да и то по несущественному поводу.

Но Адамович читал Шестова с гимназических лет, хорошо знал и высоко ценил, а главное, на его собственных размышлениях и писаниях это заметно отразилось. Так что младшее поколение впитывало яд Шестова чаще не напрямую, а опосредованно, через тех, на кого он повлиял, в том числе и через Адамовича.

Были, конечно, и исключения. Э.М. Райс признавался В.Ф. Маркову 17 февраля 1955 г.: «В Париже, куда я попал в 1934 г., я встретился с эмигрантами, которые мне открыли подлинную, мою Россию — у которой я очень быстро почувствовал себя дома — впервые в своей жизни. Наиболее сильное впечатление произвели на меня Розанов, Белый, Шестов»<sup>7</sup>. А Ю.К. Терапиано в письме В.Ф. Маркову 13 июня 1953 г. высказался от лица всего поколения: «Чего искали мы, что мы отстаивали — и от натиска старшего поколения, от “отцов-общественников”, и от советских образцов “социалистического реализма”, и от соблазна новейших французских течений — дадаизма, сюрреализма, христианства а ля Мориак — это, прежде всего, честность и правдивость, чувство ответственности поэта и писателя, отказ от внешней красоты, от погони за громкими формулами и за дешевым успехом. Кое-кто из представителей “старших поколений” — Гиппиус, Мережковский, Шестов и отчасти Ходасевич (в смысле формальном) — были нашими помощниками и союзниками»<sup>8</sup>.

Но в большинстве своем эмигрантская молодежь воспринимала идеи Шестова через посредников, и одним из таких медиаторов

---

<sup>6</sup> *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956.

<sup>7</sup> «Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955–1978) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 560.

<sup>8</sup> «...В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953–1972) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 223.

был Адамович. Тем более важным представляется собрать его высказывания о Шестове и проследить, как менялись его взгляды и оценки.

Г.В. Адамович с Г.В. Ивановым числили Шестова по разряду «великих» уже с самого начала эмиграции. Готовя первый вечер Цеха поэтов в Париже, Г.В. Иванов писал В.С. Познеру 30 октября 1923 г.: «Не находите ли Вы, что нужно разослать бесплатно билеты разным “великим людям” и просто друзьям: Зноско-Боровский, Мочульский, Бальмонт, Куприн, Судейкин (я бы очень хотел, чтобы он получил, не знаю только адрес его), Тэффи, Л. Шестов и др.»<sup>9</sup>.

Воззрения Г.В. Адамовича на смысл литературы, его философия поэзии, вызвавшая к жизни явление «парижской ноты», имела немало перекличек с мыслями Шестова. Отсюда неожиданная созвучность проблематики и художественной практики участников «парижской ноты» с зарождавшимся в 1930-е годы в литературе Франции экзистенциализмом.

Адамовича в Шестове привлекала свобода от связывающей логики, для него самого было характерно отрицание всех систем. Но еще больше привлекало то, что книги Шестова были не просто «слова, слова, слова», за ними ощущалась судьба. Бердяев охарактеризовал эту особенность Шестова с предельной четкостью: «Лев Шестов был философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была не академической специальностью, а делом жизни и смерти»<sup>10</sup>. Точно так же и для адептов «парижской ноты» поэзия была делом жизни и смерти. Собственную беспочвенность они ощущали как никогда остро, и то, что всю жизнь волновало автора «Апофеоза беспочвенности», оказалось им теперь очень близко.

В трагедийности существования они были убеждены изначально, но ощущение безнадежности у эмигрантской молодежи соседствовало с сознанием необходимости действовать вопреки всему, и в этом также было общее с настроениями мыслителя, о котором исследователь писал: «Вера у Шестова неотделима от отчаяния,

<sup>9</sup> Несколько штрихов к истории литературы первых лет эмиграции (Из архива С.В. Познера) / Публ. О.А. Коростелева // Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись: Материалы международной конференции (Таллинн, 12–14 сентября 2002) / Ред. В. Хазан, И. Белобровцева, С. Доценко. М.; Таллинн; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2004. С. 342.

<sup>10</sup> Бердяев Н.А. Основная идея философии Льва Шестова // Путь. 1938/1939. № 58. С. 44.

и только в акте безрассудной отчаянной борьбы человек способен *прорваться к истине*»<sup>11</sup>. С легкой руки Адамовича эмигранты младшего поколения нередко выбирали такой же *modus vivendi*.

Любопытно, что французские ученики и последователи Шестова уже в межвоенный период вступали в контакт с поэтами «парижской ноты»<sup>12</sup>, находя общие точки соприкосновения и понимания.

Трудно сказать, насколько повлияла на образ мыслей и стиль Адамовича манера Шестова, и можно ли усмотреть прямую зависимость «Комментариев» от афоризмов «Апофеоза беспочвенности» или же тут больше влияния В.В. Розанова, а возможно, это и вовсе одна из особенностей российского способа мышления, проявляющаяся у многих по-разному.

Как раз к стилю Шестова у Адамовича были серьезные претензии, особенно в зрелом возрасте, когда юношеское восхищение полетом мысли сменилось более трезвым взглядом. Однако к содержанию его книг не изменил отношение до конца, и больше всего сожалел, что Шестов оставил критику, отдавшись свободному философствованию. Адамович считал, что настоящий критический талант — редчайший дар, а Шестов мог бы быть настоящим критиком.

Исследователи уже посвящали работы переключкам Шестова с разными эмигрантскими авторами: Цветаевой<sup>13</sup>, Газдановым<sup>14</sup>, Буниным<sup>15</sup>. Хотелось бы надеяться, что данная подборка даст материал для новых исследований.

Фрагменты публикуются в хронологическом порядке. Отдельные мысли и сюжеты повторяются, но почти всегда добавляются новые обертоны. Не включались полные повторы и мало что прибавляющие упоминания.

---

<sup>11</sup> *Мареева Е.В.* Л. Шестов: душа за пределами ирреального // Лев Исаакович Шестов / Под ред. Т.Г. Щедриной. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 285.

<sup>12</sup> См.: *Гальцова Е.Д.* На грани сюрреализма. Франко-русские литературные встречи: Жорж Батай, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов // Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 105–126.

<sup>13</sup> *Кудрова И.В.* Лев Шестов и Марина Цветаева: творческие переключки // Звезда. 1996. № 4. С. 84–92.

<sup>14</sup> *Кибальник С.А.* Газданов и Шестов // Русская литература. 2006. № 1. С. 218–226.

<sup>15</sup> *Колобаева Л.А.* Иван Бунин и Лев Шестов: литературно-философские переключки // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2010. Т. 69. № 1. С. 8–19.

## Георгий Адамович о Льве Шестове (1925–1969)

### Литературные беседы

<...> Мысль Дени Сора та, что настоящая бессмертная литература — это только «отрывки отрывков», как говорил Гете, и что все остальное — прах.

Это очень верно. Это одна из тех мыслей, которые не принято громко высказывать, потому что они слишком многое подрывают в вековых убеждениях людей. Но надо иметь мужество принять ее. Если мне не изменяет память, об этом очень давно писал Л. Шестов в предисловии к «Апофеозу беспочвенности», оправдывая афористичность своей книги. <...>

*Звено. 1925. 30 марта. № 113. С. 2.*

### Литературные беседы

<...> В мыслях Вяч. Иванова есть свойство, принадлежащее ему исключительно: это внутренний аристократизм, недоступность вульгаризации. Вспомним, например, Льва Шестова, писателя, значение которого никем не оспаривается. Возможно, что мысль Шестова столь же своеобразна, сильна, глубока, как и мысль Вяч. Иванова. Но природа этой мысли не та. Она доступна искажению, опошлению, и в искаженном виде она по вкусу духовной черни. «Апофеоз беспочвенности» по последствиям своим — книга печальнейшая. Кто только к этому мощному «Апофеозу» не примазывался? Вяч. Иванов опошлить невозможно. Один человек, правда, попытался это сделать: Георгий Чулков. Но эта явно комическая попытка в счет не идет.

Когда читаешь «Переписку» В. Иванова с Гершензоном, этот аристократизм, эта незыблемость ивановской мысли становится вполне очевидной — Гершензон вьется, змеится, бьется вокруг нее, всячески подкапывается, но внутрь не проникает. Кроме того, не ясно ли, что в этой книге мелодия дана и все время ведется Вяч. Ивановым, Гершензону же остается только аккомпанемент, да и то по нотам Шестова? <...>

*Звено. 1925. 24 августа. № 134. С. 2.*

### Литературная неделя

<...> Был недавно вечер памяти Розанова, который на французский язык почти что не переведен и только начинает возбуждать любопытство в наиболее «утонченных» кругах парижской литературы. Б. Шлецер, главный пропагандист Розанова во Франции, сделал очень содержательное вступление и прочел отрывки из «Уединенного». В прениях Лев Шестов со страстью и глубоким своим своеобразием доказывал, что, несмотря на все розановские богохульства, «Бог любил Розанова». <...>

*Иллюстрированная Россия. 1930. 8 февраля. № 7. С. 16.*

### Из письма Г.В. Адамовича З.Н. Гиппиус 15 августа 1930 г.

Я сейчас читаю Шестова «Странствования по душам»<sup>11</sup>. Вы всегда говорите: «У него отличный язык». По-моему, язык языком, кстати, вовсе и не такой отличный, но чтение это первоклассное и настолько «интересное», что я не могу оторваться.

*Диаспора: Новые материалы.  
СПб.: Феникс, 2002. Вып. III. С. 531.*

З.Н. Гиппиус отвечала Адамовичу 16 августа 1930 г.: «Вам (в сейчасном вашем состоянии, навечном ли — ничего не знаю) Шестов должен ужасно... годиться. Именно годиться, угодиться. Мне он никогда не годился, у меня всегда вставало против него инстинктивное “не хочу!” Не от разума идущее, потому непобедимое, но разум мне нашел для него объяснения: оттого, вероятно, “не хочу”, что у Шестова> отправная точка — Nihil, а цель — называется так же. Его воля другой материи, чем моя. А так как он разрушитель искусный, талантливый и с большой к этому волей, то и “не хочу” мое к нему весьма сильное. Он умеет ходить по окраинам, говорит вещи, с которыми нельзя не соглашаться; но не опасно соглашаться для знающего, что внутри-то косточка, которую я выплону. Кто же про косточку не знает, или нет у него к ней “не хочу”, тот обычно глотает этот сладкий плод целиком. Впрочем, я говорю о себе и про себя, намеренно не обобщая ничего. Почему nihil — плохо? Мож<ет> б<ыть>, и хорошо? Коемуждо... по вкусу и по стезе, свьше указанной...» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus / Comp. by T. Pachmuss. M#nchen: Wilhelm Fink Verlag, 1972. С. 400–401).

## Странствования по душам

Много лет тому назад, в одной из ранних своих работ, Лев Шестов писал: «Как надо читать? Не к чему мысленно составлять конспект книги, не к чему делать выписки... Надо книгу прочесть, закрыть на последней странице и постараться все в ней забыть. Лишь то, что останется в памяти, сущность книги, “музыка” ее — лишь это ценно». У меня нет под рукой шестовского текста, я передаю его на память, и далеко не дословно, конечно. Это замечание я прочел двадцать лет тому назад — кажется, оно находится в «Апофеозе беспочвенности», — оно удивило меня как парадокс, но с тех пор с каждой новой книгой я все больше убеждаюсь, что в словах Шестова заключена настоящая мудрость. Разумеется, его совет не ко всякому чтению применим. Разумеется, не все книги это испытание выдерживают, — даже из тех, к которым шестовское правило можно было бы отнести. Часто бывает: читаешь, и пока читаешь, интересно, увлекательно, но закроешь книгу — не остается ничего, никакого следа, никакого отзвука. Шестовское наставление не только рецепт, оно и мерило, критерий, и в частности для поэзии, где какие бы то ни было «конспекты» были бы бессмысленны и где только «музыка» и важна, это лучшее мерило, какое можно себе представить. Пожалуй, именно так следует читать и самого Шестова. Его книги — в высшей степени интересны, от них трудно оторваться; однако главное в них даже и на полях не нашло места, а осталось где-то между строками, и лишь когда книгу закроешь, оно делается ясным. Перечитывать Шестова можно долго, но не удастся его исчерпать, каждый раз как будто делаешь несколько шагов дальше, и вместе с тем ускользает дальше и мысль автора, тема его. Остаются только вопросы — все очевиднее становится невозможность ответов.

Последняя книга Шестова «На весах Иова» — с подзаголовком, который лучше передает ее содержание: «Странствования по душам» — вышла больше года тому назад. До сих пор она вызвала сравнительно мало откликов, и — без всякой иронии — это естественнее всего объяснить тем, что книга еще не прочтена, как следует. Помимо ее объема, помимо трудности многих ее страниц, книга эта не то что требует, она вызывает длительное умственное «пищеварение» — прошу простить за этот грубый физиологический образ, но он в данном случае ближе всех других соответствует сущности дела. Даже те главы, в которых все знакомо и сравнительно просто, останавливают внимание надолго. Читаешь — и невольно опускаешь книгу на колени: что если это действительно так? а

что если сделать отсюда вывод? узнаем ли мы когда-нибудь обо всем этом хоть что-нибудь достоверное? Вопросам, догадкам, сомнениям нет конца, сомнения сами собой переходят в безбрежное мечтание, и человек уносится так далеко, что ему надо сделать большое усилие, чтобы вернуться к исходному авторскому положению и продолжать чтение. Всю человеческую жизнь, всю человеческую веру, все наше знание кладет Шестов на «весы Иова», — удивительно ли, что его книгу нельзя наспех перелистать, невозможно отделаться от нее каким-нибудь обычным замечанием, вроде «очень оригинально! очень интересно!» — и на том успокоиться?

Книга пестрит именами и философскими терминами. Платон, Плотин, Спиноза, Гегель, Гусерль, гносеология, этика, онтология... Но это вовсе не книга для «специалистов», во всяком случае не «только для специалистов», — и достаточно знакомства с главными фактами истории мысли, чтобы она была понятна (за исключением, пожалуй, только последней статьи, требующей знания новейшей немецкой философии). Для чтения и понимания Шестова нужна не столько философская эрудиция, сколько душевная «обращенность» к тому, о чем он говорит. Нет писателя, который был бы меньше «болтуном», чем Шестов: он всегда думает о «самом важном», он только о «самом важном» и твердит, и вовсе не для того, чтобы блеснуть каким-либо эффектным афоризмом или остроумным построением, а лишь по неутомимому любопытству своему к «началам и концам», по глубокой и страстной заинтересованности. Еще Аристотель насмешливо заметил: «нет необходимости, чтобы человек думал то, что он говорит». Шестов действительно говорит то, что думает — это чувствуется в каждом слове его, в самом стиле, всегда изнутри согретом и лишенном всяких признаков «красного словца». И так как «самое важное» у всех людей одинаковое, одно и то же, то и выходит, что шестовские темы всех касаются. Шестов лишь развивает их в направлении, о самом существовании которого не все даже и подозревают.

Мне довелось слышать очень характерный отзыв о «Странствованиях по душам» от человека, который к философскому чтению не привык: учил когда-то в гимназии логику и психологию, да этим и ограничился; ум у него пыливый, и душа беспокойная. «Как странно, — говорил он, — мне представлялось, что философия — это что-то отвлеченное и сухое, вроде алгебры; а оказывается, это то, о чем думаешь иногда по ночам, о чем надо было бы думать всю жизнь, но невозможно... как невозможно всю жизнь биться головой об стену». Не знаю, понял ли этот человек все, что говорится

в «Странствованиях по душам» о Спинозе или Плотине. Но что он уловил суть шестовской мысли — это несомненно.

«Странствования по душам» едва ли не лучшая книга Шестова. Она напряженнее, сосредоточеннее, она «мучительнее» прежних. То, что в последней своей статье, напечатанной в новой книжке «Современных записок», Шестов называет «лейтмотивом Чехова», можно, кажется, отнести к нему самому: «чувствуешь, что люди плохо слышат себя, что нужно бы говорить громче, кричать. А кричать — противно. И говоришь все тише и тише, скоро можно будет и совсем замолкнуть». В беседе с самим собой — или, может быть, с Богом, Шестов еще страстнее, еще несговорчивее, чем прежде, но он стал рассеяннее к людям, он будто оставляет всякую заботу о них и уже нисколько не соблазняется ролью «властителя дум», привлекавшей его, кажется, в былые годы. По-прежнему постоянным и единственным поводом к размышлениям, трамплином, с которого он слетает, является для Шестова ограниченность разума и, так сказать, неосновательность его притязаний на неколебимо-прочное верховное место в жизни. Нет для Шестова большего удовлетворения, как показать на примере «избранников судьбы», что даже и этим лучшим, мудрейшим, славнейшим людям случалось иногда убеждаться в бессилии разума и терять почву под ногами. Ему ненавистны творцы систем, считающие, что они все в мире поняли, все объяснили, или, по крайней мере, что все в мире подлежит объяснению. Ему близки и дороги те, которые «ищут, стена», — по слову Паскаля — готовые каждую минуту во что угодно поверить, в чем угодно усомниться. Неудача интеллекта — самое радостное зрелище для Шестова. Но было бы, кажется, ошибкой думать, что борьба с разумом есть главная тема Шестова, что ему достаточно ее в качестве дела всей жизни, и что она движет его пафосом. Вернее сказать, что это все-таки лишь «повод». А дальше, когда тирания закона противоречия оказывается поколебленной и когда исподтишка, незаметно, со сдержанным внутренним ликованием выяснено, что хоть у нас дважды два действительно четыре, но, кто знает, где-нибудь в других временах, в других сферах дважды два может быть и пять, — дальше начинается истинная шестовская «музыка», его бесконечные вопросы судьбе, Богу, природе, его безответные «а что если?..», «а не возможно ли это?»... все то, что он сам часто не в силах договорить, что заключено иногда только в намеках и что, действительно, для всего живого мира есть «самое важное». Да и самая борьба Шестова с разумом гораздо сложнее и трагичнее, чем это может показаться на первый взгляд и чем это многие ду-

мают. Шестов с разумом борется и тут же к его помощи прибегает, он его уничтожает и тут же утверждает, он знает изворотливость разума и его мощь, он чувствует его обаяние, он мог бы воскликнуть, как римский поэт *odi et amo*. (Кстати, тема о «банкротстве разума» есть, как известно, модная тема... Когда об этом говорят Шестов или Бергсон, их можно и надо слушать. Но что сказать о наивных снобах, русских и иностранных, которые, не зная даже хорошенько, что такое разум, иначе не пишут теперь это слово, как в иронических кавычках, считая, что «его песенка спета», что он уничтожен навеки! Сюда же отнесем и досужие разговоры о девятнадцатом веке, который, видите ли, слишком доверился разуму и потому тоже обанкротился, — о «тупом» девятнадцатом веке, как принято выражаться. Жаль, что разум, а заодно и девятнадцатый век, — никак не соберутся на все это пустословие ответить во всеоружии своих доводов, во всем блеске своих «рассудочных» оснований.) Вероятно, Шестов чувствует, к каким последствиям привела бы его победа над разумом, и потому, может быть, он так и смел в борьбе, что знает: победы не будет.

Здесь мы подходим к самому существу книги Шестова, и здесь, мне кажется, уместнее всего остановиться. Я намеренно не пытаюсь передавать содержания «Странствований по душам». Невозможно уложить в газетную статью книгу, за которой чувствуется несколько десятилетий напряженной мысли: не стоит это делать потому, что в такой «передаче» ничего не было бы передано, и не следует делать это из уважения к автору. Скажу только, что в «Странствованиях по душам» включены две статьи о русских писателях — о Толстом и Достоевском, затем статьи о Паскале и Спинозе и о Плотине, и ряд отдельных заметок. Книга лишена плана, последовательности, чтение можно с чего угодно начать, на чем угодно оборвать. Шестов с маниакальной настойчивостью толкует всегда о том же, и нельзя даже сказать, что он сразу вводит в суть дела — потому, что у него только «суть дела» и есть. Если вдуматься, то становится ясным, что все Шестовым написанное есть обширный и патетический комментарий к нескольким мыслям, нескольким положениям, высказанным его «философскими любимцами». В «Странствованиях по душам» особенно заметны три таких темы-стержня. Во-первых, — это слова Платона о том, что человек, «истинно приверженный к философии, занимается только умиранием и смертью». Во-вторых, — слова Плотина: «великая и последняя борьба ждет человеческие души». Наконец, в-третьих, загадочные слова Паскаля, которые то вдруг становятся совершен-

но ясными, будто в каком-то проблеске, то опять становятся совершенно непонятными.

Шестов знает, что говорит всегда об одном и том же. Не без основания он в статье, помещенной в «Современных записках», возражает: «словно другие не об одном и том же говорят»! Он знает и то, что многие «сердятся» на него за его писания, и объясняет это тем, что он не дает людям спать. «Злятся, нужно думать, потому же, почему злятся спящий, когда его расталкивают. Ему спать хочется, а кто-то пристаёт: проснись». Сравнение не совсем точное, и уж если сравнениями пользоваться, надо было бы сказать иначе. Оставим вопрос о «злобе», он не важен... Но не то чтобы Шестов не давал людям спать, нет. Его дело грустнее, опаснее, оттого и есть в каждой шестовской строчке привкус самоистязания. Похоже, будто люди, плохо ли, хорошо, построили себе какой-то дом, где и укрылись от «стихий». Может быть, они бедный, жалкий, убогий дом себе построили. Может быть, первый строитель — не Аристотель ли? — должен был лишить людей «счастья и поэзии безначалия», чтобы вогнать их туда... Может быть. Но — иначе жить нельзя. Шестов же как будто снова гонит людей вон, на бесконечный, ледящий простор, где, обретая свободу, они снова окажутся от всего беззащитны. Никогда мы добровольно свой дом, убежище разума, не покинем, но

...страшных песен сих не пой,  
Под ними хаос шевелится

– вспоминаются порой тютчевские стихи, когда читаешь Льва Шестова.

*Последние новости. 1930. 28 августа. № 3445. С. 3.*

«Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления)» (СПб.: Общественная польза, 1905) — книга Л.И. Шестова, несколько раз переиздававшаяся в России и в эмиграции и переведенная на основные европейские языки.

«На весах Иова: Странствования по душам» (Париж: Современные записки, 1929) — книга Л.И. Шестова, вскоре переведенная на несколько языков.

«чувствуешь, что люди плохо слышат себя, что нужно бы говорить громче, кричать. А кричать — противно. И говоришь все тише и тише, скоро можно будет и совсем замолкнуть» — (Шестов Л. О втором измерении мышления (Exercitia spiritualia) // Современные записки. 1930. № 43. С. 347).

*odi et amo* — ненавижу и люблю (лат.)

...статьи о русских писателях ~ Достоевском... — Статья, написанная

к 100-летию со дня рождения Достоевского, первоначально была напечатана в «Современных записках»: Шестов Л. Откровение смерти: Преодоление самоочевидностей // Современные записки. 1921. № 8. С. 132–178; 1922. № 9. С. 190–215.

«словно другие не об одном и том же говорят» — Адамович имеет в виду слова Шестова: «На меня сердятся за то будто, что я все об одном и том же говорю. И на Сократа за это же сердились. Словно другие не об одном и том же говорят» (Шестов Л. О втором измерении мышления (Exercitia spiritualia) // Современные записки. 1930, № 43. С. 311).

«Злятся, нужно думать, потому же, почему злится спящий, когда его расталкивают. Ему спать хочется, а кто-то пристает: проснись» — (Там же. С. 312).

«страшных песен сих не пой...» — из стихотворения Ф.И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (Первая половина 1830-х гг.).

### «Современные записки». Книга 61. Часть литературная

<...> Замечательна статья Льва Шестова о Толстом. Основная ее идея, правда, спорна, — и более характерна для самого Шестова, нежели для автора «Войны и мира». Едва ли можно полностью принять параллель между Николаем Ростовым, «опирающимся на силу эскадронов», — и разумом, действующим так же. Едва ли Толстой именно с разумом — как сам Шестов — вел до конца жизни борьбу. Но от такого одержимого единой мыслью мыслителя, как Шестов нельзя и требовать «объективности». Он не может освободиться от самого себя с той же легкостью, как рядовой «талантливый критик». Однако, благодаря тому, что каждое написанное Толстым слово имеет для него живое, действенное значение, он все-таки к нему близок. Все-таки — он его понимает. Шестов не особенно часто удостаивает литературу своим вниманием — но мог бы стать, если пожелал бы, ценнейшим из наших критиков, у него есть умственная страстность — то, что одно только и позволяет постичь сущность творчества. <...>

*Последние новости. 1936. 30 июля. № 5606. С. 3.*

...статья Льва Шестова о Толстом... — Шестов Л. Ясная Поляна и Астапово: К двадцатипятилетию со дня смерти Толстого // Современные записки. 1936. № 61. С. 217–230.

## Две статьи

Начну с Шестова и его статьи о Достоевском, — и позволю себе сразу же сделать личное признание, что чем дольше слежу я за мучительным, каким-то самоистязающим творчеством этого замечательного и, в умственной несговорчивости своей, обаятельного писателя, тем меньше понимаю: чего он хочет? Ну, вот — перед нами сейчас рассуждение о Достоевском. Будь Шестов обыкновенным «литературоведом», — как выражаются теперь в России, — никому, конечно, и в голову не пришло бы обращать к нему вопросы вроде «как поверуешь?». Убеждения Достоевского изучены и разобраны; показано, в чем состоял его «кризис», проведена параллель между его юношескими и поздними взглядами, — и дело с концом. «Литературовед» не только не обязан сообщать свои мысли по поводу того, что волновало Достоевского, но должен даже воздерживаться от этого. С Шестовым, однако, — положение иное. Он, правда, не «проповедует» в точном смысле слова, но он всегда вторгается в те распри и споры, о которых пишет, всегда дает понять, где его союзники и где его враги, — что он одобряет, над чем издевается. Шестов с неутомимым постоянством цитирует Паскаля и Плотина, Спинозу и Гегеля, но заранее знаешь, что его сочувствие обеспечено всему, что иррационально, анти-логично, демонстративно-безумно, и что вообще таит в себе какой-то вызов, умственный или нравственный. Допустим невероятное: представим себе, будто каким-нибудь чудом было доказано, что мир в основных, в «метафизических» линиях соответствует установленным представлениям о добре и зле, об истине и лжи. Шестов, вероятно, с отвращением воскликнул бы: «тем хуже для фактов!», — настолько ему самое понятие одинокого, отчаянного протеста дороже цели, к которой он может быть обращен. Если можно верить в жизнь по-другому, нежели «*quia absurdum*», он такую веру не ставит ни в грош. Конечно, это коренное, прирожденное пребывание «при особом мнении» боится от косности мысли, от лениво-благодушного согласия с общепринятым... Но оно и может завести туда, откуда нет выхода. Предположение, менее всего способное испугать Шестова, т.к. он ответит несомненно, что истинный «выход» и может открыться там, где его будто бы нет. У всякого другого это было бы «общим местом навыворот», жонглированием парадоксами и безднами — у него это исходная точка всего творческого дела.

Статья о Достоевском хороша тем, чем всегда хороши и увлекательны литературные статьи Шестова: его даром «странствования

по душам», его глубоким постижением противоречий, смущающих, а подчас и терзающих человеческое сознание.

Если бы Шестов до литературы вполне снизошел, он был бы, вероятно, самым пронизательным русским критиком за последние десятилетия, — главное же, едва ли не единственным из них, схватывающим тему писателя «по существу», а не ограничивающимся частными, пусть и дельными или острыми замечаниями. Нельзя забыть статей о Чехове и всего, что Шестов написал о Толстом, о Ницше, или Ибсене.

Последняя его работа — итог мыслей о Достоевском. Шестов начинает ее с заявления, что Достоевский «один из самых трудных представителей не только русской, но и всемирной литературы». Он считает до известной степени правильной давнюю характеристику, данную Достоевскому Михайловским: «жестокий талант». Но Михайловский, конечно, не задумался над тем, откуда пришла к Достоевскому жестокость, — после «Бедных людей» и всех его докаторжных, проникнутых человеколюбием созданий. «Ответить на этот вопрос, — утверждает Шестов, — значит подобрать ключ к загадке творчества Достоевского».

В юности Достоевский писал: «сердце захватывает, познается, что самый забытый последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Он не сам открыл это, его этому научила эпоха, вдохновенно перерабатывающая идеи французской революции, научили Гоголь и Белинский. В особенности — Белинский. Не случайно Белинский всплеснул руками, прочтя «Бедных людей»:

— Да понимаете ли вы сами, что вы написали?

Достоевский примкнул к основному течению русской литературы и занял место среди тех, кто «вышел из шинели Акакия Акакиевича». Однако Белинский учил не только справедливости, состраданию и милосердию. В одном из его частных писем есть строки, которые Шестов с полным основанием считает зерном мыслей, развитых в «Братьях Карамазовых»:

«Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайности, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени брошусь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж конечно не для тех, которым суждено выразить своей участью идею дисгармонии».

(Кстати, мимоходом: в советской России необычайно высоко чтут Белинского. Интересно, помнят ли там эти строки — а если помнят, как их комментируют? Что же, Белинский, значит, был «хлюпиком»?)

Отсюда, конечно, рукой подать до «слезинки замученного ребенка». Но ни на «отчет», которого требовал Белинский, ни на вопросы Ивана Карамазова ответа нет и быть не может. Достоевский понял это не сразу, — а поняв, ужаснулся: «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?». Можно ли помочь «забитым» людям, «униженным и оскорбленным» жизнью?

Шестов утверждает, что Достоевскому стало ясно: помочь нельзя. Он на каторге в течение нескольких лет читал Евангелие, единственную книгу, которая была ему доступна. Из чтения он будто бы сделал вывод, «что все высокие моральные идеи, отдельно взятые, ничего не дают и дать не могут». Люди заменили слово откровения «Бог есть любовь» разумной истиной «любовь есть Бог», — и сами лишили себя всякой надежды на избавление от страданий и бедствий. От юношеского восторга, от счастливых и благодатных рыданий по поводу того, что «последний человек есть брат твой», не осталось ничего. Ну, брат, — но что с того? Брат по несчастью? «Сознание совершенного своего бессилия, — пишет Достоевский в “Дневнике писателя”, — принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном нашем убеждении в этом страдании, может даже обратить в сердце вашем любовь к человеку в ненависть к нему». (Характерная подробность: Достоевский пишет, «может обратиться в ненависть». Шестов тут же, непосредственно вслед за цитатой, поясняя ее, говорит: «бессильная любовь к людям должна неизбежно превратиться в ненависть. Эта страшная истина», и т.д., и т.д. Он рад поймать Достоевского на слове и вовлечь в свои сети.)

«Прежде Достоевский думал, что мораль может справиться со всеми вопросами, задаваемыми человеку жизнью. Он не замечал, как не замечали и все, с которыми он жил, что мораль сама по себе не защитит человека, брошенного в бесконечные пространства и времена, от бессмысленной жестокости произвола стихий».

Дальше Шестов вспоминает картину Рогожина из «Идиота», где природа представлена «в виде какого-то огромного, неумолимого зверя или громадной машины, которая бессмысленно поглотила и захватила, и раздробила глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо, которое одно стоило всей природы и всех ее законов», вспоминает «Сон смешного человека», Паскаля, «духовно

самого близкого Достоевскому человека» и паскалевскую «отчаянную борьбу с разумом», — и заключает, что ответ на недоумения Белинского Достоевский все-таки нашел, только ответ этот был бы неприемлем для его учителя. Он — в «Мальчике на елке у Христа», в безотчетных слезах Алеши, в поцелуе, на котором обрывается «Легенда о Великом инквизиторе», во всем, чего нельзя понять, и что именно поэтому-то только велико, и бездонно-глубоко, и вечно, что непонятно... «Дважды два четыре — это уже не жизнь, а начало смерти, дважды два четыре — это нахальство», как сказано в «Записках из подполья».

Построение стройное и продуманное, да иначе и не могло быть, так как основано оно на заветнейших мыслях Шестова. Правда, писателя столь чудовищно-сложного и ни с какой последовательностью не считающегося, как Достоевский, можно было бы представить, «препарировать» и иначе — но предложенная схема убедительна, поскольку остается в пределах «истории литературы». Удивление возникает, так сказать, в иной плоскости, — когда вновь и вновь спрашиваешь себя: чего хочет Лев Шестов?

Если бы такая статья принадлежала человеку фанатически верующему, «потомку Паскаля», ее можно было бы понять. «Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь»... Но у Шестова в каждой строке слышится даже не сомнение, а непреодолимое, глухое безразличие к тому, куда он взывает, и даже к самому рогожинскому «Существу»! Если бы такую статью написал Розанов, все было бы ясно: для Розанова, действительно, «дважды два было нахальством», в этом вся его духовная сущность. Но Шестов бьется головой об стену, — и, в конце концов, разобьется об нее, не увидев в брешь никакого света. Очевидно, таково его назначение, горестное и безотрадное.

Любовь к человечеству, разум, мораль: слова как будто бы совсем смертные, истрепанные, утратившие живой смысл... Но неужели без них все-таки лучше, чем с ними? Неужели нельзя даже Паскаля, даже Достоевского с ними примирить, — а, не имея того, что у Достоевского и Паскаля было, нельзя удержаться от ската к «ненависти»? Неужели с колебанием потусторонних надежд человек обречен на скотское состояние, и даже не должен ему противиться? Неужели излюбленные Шестовым и действительно чудесные, гениальнейшие, невероятные по звуку и тону паскалевские слова относительно того, что «il ne faut pas dormir pendant ce temps-là», нельзя понять, как завещание, наставление, урок всем, кто скотом стать не хочет? Такие возражения похожи на «розовую водичку», на прописи. Но они могут еще и жечь, как огонь, притом даже не противореча вере.

Конечно, главным врагом Шестова остается разум. Ему в ответ как-то неуместны доводы практического порядка... Но не могу не вспомнить того, что в своей последней книге писал Томас Манн.

Нападки на разум — в общих чертах, — замечает он, — сами по себе могут быть оправданы. Плохо и опасно, однако, в них то, что они нарушают духовный остов человека. Разум в человеке — стержень: вынуть его — все распадется, и для человека, как для Смердякова, становится «все позволено». Встанем, поэтому, на защиту его, — ради сохранения божеского «образа и подобия».

Многим при чтении этих мужественных и достойных строк вспомнятся, как ответ, слова из стихотворения Блока: «Товарищ, дай мне руку!» Может быть, протянет руку в конце концов и Шестов. <...>

*Последние новости. 1938. 6 января. № 6130. С. 3.*

...В последних номерах «Современных записок» и «Русских записок» помещены две статьи на литературные темы... — Адамович ведет речь о статьях: Иванов Вяч. О Пушкине // Современные записки. 1937. № 64. С. 177–195; Шестов Л. О «перереждении убеждений» у Достоевского // Русские записки. 1937. № 2. С. 125–154.

«*quia absurdum*» — потому что абсурдно (лат.). Часть выражения *Credo quia absurdum* (Верую, ибо абсурдно) из труда «О теле Христовом» христианского теолога и писателя Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (ок. 160–после 220).

«*странствования по душам*» — Подзаголовок книги Л. Шестова «На весах Иова: Странствования по душам» (Париж: Современные записки, 1929).

...статей о Чехове и всего, что Шестов написал о Толстом, о Ницше, или Ибсене... — См. книги Льва Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше» (СПб.: Стасюлевич, 1900) и «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» (СПб.: Стасюлевич, 1903), а также его статьи «Творчество из ничего» (Вопросы жизни. 1905. Март. С. 101–141) и «Победы и поражения: Жизнь и творчество Генрика Ибсена» (Русская мысль. 1910. Кн. IV. С. 1–30; Кн. V. С. 1–38).

«*жесточкий талант*» — название статьи Н.К. Михайловского о Достоевском (Отечественные записки. 1882. № 9–10).

«*сердце захватывает, познается, что самый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой*» — Слова Николая Сергеевича Ихменева (Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные. Гл. VI).

«*Да понимаете ли вы сами, что вы написали?*» — Адамович по памяти приводит эпизод из «Дневника писателя» (1877. Январь. Гл. 2. IV). У Достоевского: «*Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!*»

«*Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития ~ идею дисгармонии*» — не вполне точная цитата из письма Белинского к В.П. Боткину от 1 марта 1841 г.

«*Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?*» — слова Ивана Карамазова Алеше из главы «Бунт» (Достоевский Ф.М.

Братья Карамазовы. Часть вторая. Кн. 5. Гл. IV). Шестов подробно рассуждал на эти темы в своей книге «Достоевский и Ницше» (Глава XV).

«Сознание совершенного своего бессилия... может даже обратить в сердце вашем любовь к человеку в ненависть к нему» — Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876. Декабрь. Гл. 1. III.

«в виде какого-то огромного, неумолимого зверя... стоило всей природы и всех ее законов» — Достоевский Ф.М. Идиот. Часть третья. VI.

«Дважды два четыре — это уже не жизнь, а начало смерти, дважды два четыре — это нахальство» — Адамович по памяти цитирует «Записки из подполья» (1. IX). У Достоевского: «Дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти <...> Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с».

«*il ne faut pas dormir pendant ce temps-là*» — дословно: «нельзя спать в преддверии тех времен» (фр.); в переводе П.Д. Первова: «неестественно употреблять свою жизнь не на то, чтобы приготовиться к будущей жизни» (Паскаль Б. Мысли / Пер. П.Д. Первова. СПб., 1888. С. 36).

...в своей последней книге писал Томас Манн... — Адамович читал и рецензировал сборник статей Томаса Манна «Предупреждение Европе», вышедший на французском языке с предисловием Андре Жида: Адамович Г. «Предупреждение Европе» // Последние новости. 1937. 2 декабря. № 6095. С. 3.

«все позволено» — В «Братьях Карамазовых» эти слова впервые произносит Ракинтин, говоря об Иване: «слышал давеча его глупую теорию: “нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено”. (А братец-то Митенька к стати помнишь, как крикнул: “Запомню!”). Соблазнительная теория подлецам» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть первая. Кн. 2. Гл. VII).

«Товарищ, дай мне руку!» — неточная цитата из стихотворения А.А. Блока «Миры летят. Года летят. Пустая...» (1912). У Блока: «Дай мне руку, / Товарищ, друг!».

### «Русские записки» <№ 2>

<...> о статье Шестова «Перерождение убеждений у Достоевского» лучше не сказать ничего, чем написать несколько слов. Исключительно интересная тема, — и исключительно интересен подход Шестова к ней, не новый для него, конечно, знакомый по всем прежним его писаниям, но с каждым годом все более страстный и как будто гневный в предвидении возможных возражений. <...>

Последние новости. 1937. 16 декабря. № 6109. С. 3.

## Из мира литературы

<...> В истекающем году — две большие потери для русской литературы: Куприн и Шестов.

Их только смерть сблизила — притом, как говорится, «чисто механически». Общего между ними нет ничего. Куприн — литератор, повествователь, писатель в традиционном значении слова. Шестов — философ, а в литературе — как будто только «гость случайный». Но эти его случайные визиты оставили в ней глубокий след.

У Бунина был, по-видимому, острый нюх. Он однажды заметил, что «мутный источник» всей новой русской словесности — Лев Шестов, в частности его «Апофеоз беспочвенности». Хронологически это было, пожалуй, и неверно, но по существу соответствовало истине: Шестов обосновывал то, что другие передавали в стихах, Шестов расшатывал то, что другие осмеивали или отрицали. Он написал лет тридцать тому назад замечательную по силе убеждения статью о Федоре Сологубе, самом декадентском из наших декадентских поэтов: оказалось, что именно Сологуб для него — идеал и образец поэтического творчества.

Шестов ненавидел разум, всю жизнь безнадежно боролся с ним, «сам себе рыл могилу», как выразился, если не изменяет мне память, Вячеслав Иванов в переписке с Гершензоном. Блок, например, со своей социальной и моральной встревоженностью, был для него слишком прозаичен. Его влекло пение, свободное от всего. Многие, многие из того, что декларировалось и вещалось в наших дореволюционных модернистических журналах, — казалось разжиженным переложением того, что говорил Шестов.

Конечно, у него было «выстрадано» все, что другим далось даром. Оттого его книги останутся живы, когда будет забыто девять десятых из написанного его современниками. Остаются ведь в памяти людей не столько мысли и слова, сколько то, что за ними, то, чем они изнутри согреты и освещены. О Шестове же действительно можно сказать, что он «вложил всю душу» в свои писания, — и вел какой-то бесконечный спор с силами, установившими мировой порядок. Каждый вправе разделять или не разделять его взгляды, — но фигура это была патетическая, смутно напоминающая того библейского Иова, к которому он возвращался в каждой статье.

В философии он держался чуть-чуть дилетантом, — по самому характеру своего мышления чуждаясь «специализации». Он не любил полочек, клеточек и разграничений, а был обращен ко всему сразу. Если литература есть тоже все, если она ко всему обраще-

на, — в ней за последние десятилетия должно быть отведено одно из самых значительных мест Льву Шестову.

*Русские записки. 1939. № 13. С. 193–197. Подп.: Г. А.*

### **Литература в «Русских записках» <№ 19>**

Вспоминаю, как любил Ремизова покойный Лев Шестов, как он светился и улыбался, говоря о нем. Что же, Шестову, маниакально и мучительно привязанному к двум-трем неразрешимым сомнениям, к Плотину или Киркегарду, значит хотелось иногда «сойти с высоты», отдохнуть, усмехнуться, — а ведь не у всех это оправдание есть. Шестов едва ли брал новую книгу, мысленно спрашивая автора: что можешь ты мне дать в жизни? А мы, обыкновенные смертные, Плотиним и Киркегардом не истерзанные, еще готовы этот вопрос задать, — и огорчаемся, когда видим, что один из самых замечательных русских писателей вместо ответа «затейничает».

*Последние новости. 1939. 3 августа. № 6702. С. 3.*

### **Литературные заметки**

Лучшие, наиболее замечательные русские критические «работы» не все написаны не профессионалами этого дела, а порой и такими людьми, как Леонтьев (удивительные по остроте мысли статьи о Толстом), отчасти, как Соловьев (если простить ему осуждение Пушкина), как Лев Шестов, наконец, у которого идеи «возникают» на каждой странице. Нельзя же ограничивать русскую критику Белинским и... Лебедевым-Полянским.

*Русские новости. 1947. 13 июня. № 106. С. 4.*

### **Из записной книжки <III>**

<...> Мережковские утверждали, что замечательный писатель — именно писатель — и Лев Шестов, и, кажется, Шестов сам очень ценил у себя стиль и слог. Странно! У Шестова есть огонь, есть сила, но нет никакого чутья к языку, и чего стоят одни назва-

ния его! «Разрушающий и созидающий миры», «Дерзновения и покорности»... Будто дурной перевод.

*Новоселье. 1949. № 39/41. С. 144–149.*

### **Андре Жид**

Покойный Лев Шестов когда-то заметил, что при беседе с Жидом у него создается впечатление, будто умнее нет человека на свете и вообще умнее человек быть не может. Кто Шестова знал или, по крайней мере, читал его книги, оценит полностью значение такого свидетельства, — и, вспоминая писания Жида, вероятно, с ним согласится.

*Новое русское слово. 1951. 11 марта. № 14199. С. 8.*

### **Толстой и Наполеон**

Если может что-нибудь исказить, ослабить впечатление от «Войны и мира», то именно образ Наполеона. Нет при этом сомнения, что руководило Толстым в этой карикатуре глубокое его чувство нравственной правды, внушившее ему с юных лет отвращение ко всякой театральщине, самоуверенности, позе и фанфаронству. «Нет величья там, где нет простоты и правды», сказано в «Войне и мире», — и кто же станет против этого возражать? Толстой был максималистом даже в области эстетической, и то, что пленило и прельстило в «иррациональном» — по Гете — облике Наполеона чуть ли не всех писателей и поэтов прошлого века, соблазнить его не могло. Исходная точка была у него верна, тверда, но по дороге, в процессе создания образа, принадлежащего истории, произошла какая-то ошибка, — а главное, внезапно прорвалась злоба, мешающая видеть истину. Не хватило не то что милосердия, не хватило спокойствия, беспристрастия, пожалуй даже именно «простоты и правды»... «Если бы жизнь могла писать, она писала бы именно так», — сказал о «Войне и мире» замечательный французский критик Шарль дю Бос. Совершенно верно! Но в главах о Наполеоне жизнь уступила свои права кому-то другому, и величавое течение романа, нашей Илиады, в этих главах суживается и начинает кипеть и пениться. Все люди как люди, для каждого есть слово пони-

мания и снисхождения, для Николая Ростова, для пустоцвета Сони, даже для Бориса и других зауряднейших персонажей. Один Наполеон неизменно глуп, лжив и ничтожен. Даже о смерти его Толстой говорит: «позорная смерть». Почему «позорная»? Да и уместно ли в применении к смерти это слово?

Больше полувека назад возник на эту тему спор между Львом Шестовым и Мережковским. Шестов отстаивал правоту Толстого, Мережковский же в нападках своих зашел так далеко, что решился отнести к Толстому последнюю строфу знаменитой оды на смерть Наполеона «Да будет омрачен позором тот малодушный...»

*Новое русское слово. 1955. 13 марта. № 15660. С. 8.*

### **Вячеслав Иванов и Лев Шестов**

<...> Льва Шестова многое связывало с Вячеславом Ивановым, хотя, пожалуй, и не было в нашей новой литературе писателей менее схожих. Иванов всегда отзывался о Шестове с уважением, к которому примешивалась не то грусть, не то недоумение: казалось, он не понимал, чего, собственно говоря, Шестов хочет, почему бьется головой о стену, какие хотел бы получить ответы на свои явно безответные вопросы. Шестов утверждал, что высоко ценит поэзию Иванова, — хотя в разговоре и выяснилось, что почти ни одного его стихотворения он вспомнить не в силах. Из новых поэтов Шестов действительно любил и признавал, кажется, только Федора Сологуба. У Вячеслава Иванова пленяла Шестова его огромная ученость, не мешавшая, однако, — как это порой случается, — полету мысли. Не по душе ему было, по-видимому, только то, что у Вячеслава Иванова этот полет мысли привел к наличию «мировоззрения», великолепно-торжественного и стройного: Иванов как будто знал, что такое бытие, что такое культура, какой смысл в творчестве, у Иванова концы сходились с концами, а для Шестова основной и даже единственной истиной было то, что никаких концов вообще нет, если же они существовали бы, то разбросаны оказались бы по таким временным и пространственным безднам, в которых разуму нашему решительно нечего делать. У Шестова было во всемирной литературе несколько любимых мыслей или даже только фраз, которые он во всех своих книгах приводил, повторял и без устали комментировал. Одной из этих фраз было предположение героя Записок из подполья насчет того, что дважды два, пожалуй, вовсе

не четыре, а пять. Если бы нужно — и если бы возможно было, — в схематической и упрощенной форме выразить сущность шестовской философии, то более выразительной фразы и не сыскать: а может быть — кто знает? — дважды два в самом деле пять или даже шесть, или, скажем, сто один? И именно это огорчало и удивляло Вячеслава Иванова, человека слишком пронизательного, чтобы не понимать трагической значительности шестовского вопроса, но всем существом своим чувствовавшего его неразрешимость, его безвыходность, и, значит, его праздность. Да, может быть, Лев Исаакович — как будто говорил в ответ Вячеслав Иванов, — может быть, пред лицом вечности вы и правы! Но что мы о вечности знаем? Останемся в нашем, отведенной нам судьбой и Богом мире, будем довольствоваться нашей жизнью, — «дивной, загадочной, земной жизнью», как сказал перед смертью Ибсен, высоко чтимый и Шестовым, и Ивановым, — постараемся жить и мыслить в гармонии с высшими силами и стихиями мироздания. А вместо бунтов и загадок, будем по мере сил строить, воздвигать духовную культуру, как некий невидимый храм!

Для Шестова такого рода возражения были филистерством и прекраснотушием, как для Иванова подпольные поиски Шестова были чем-то похожим на гробокопательство. Отражение этого разногласия косвенно запечатлено в «Переписке из двух углов», где через голову Гершензона Иванов как будто обращается со своими увещеваниями именно к Шестову.

В задачу мою не входит, однако, ни разбор, ни даже изложение шестовской философии. Хотелось бы мне только сказать несколько слов о Шестове как литературном критике. Он мог бы оставить в этой области глубокий и значительный след, если бы чаще к ней спускался, если бы не ограничивался и здесь своими постоянными мучительными недоумениями, оставляя в стороне все то, что к личной его теме отношения не имело. Но даже и с такой оговоркой Шестов — явление в нашей критике замечательное. По его статьям нельзя, конечно, составить себе сколько-нибудь полного представления ни о Толстом, ни о Достоевском, ни о Пушкине, ни о Чехове, но как бы на полях того, что было о них сказано другими, — отчасти в дополнение, отчасти в опровержение, — шестовские догадки и намеки дают порой очень много. Что скрывать, критика — область, которой нашей литературе особенно гордиться не приходится! До уровня великой русской поэзии и великой русской художественной прозы она никогда не поднималась, и даже в последние десятилетия, в которые какого-либо величия осталось в нашей словес-

ности вообще маловато, — профессиональные критики плелись в хвосте культуры и творчества, и в силу этого постепенно внушали убеждение, что люди, которым «есть что сказать», критикой заниматься не стали бы. Шестов в литературной критике — гость, гастролер, чуть-чуть даже дилетант. Но узнать от него можно о некоторых русских писателях, — да и не только о русских: о Шекспире, например, или об Ибсене, — кое-что очень существенное, притом оставшееся скрытым.

О Толстом Шестов писал часто и с особым увлечением. Но что Толстой — великий художник, он, по-видимому, считает раз навсегда установленным и не делает никаких попыток разъяснить нам, в чем значение Толстого, именно как художника. Для него это — прописи, «дважды два четыре», — а оживляется Шестов лишь тогда, когда дважды два приводят к результату несколько неожиданному. И конечно, влечет его главным образом Толстой поздний, хотя он и не упускает случая напомнить о «несравненной прелести» «Казаков» или «Войны и мира». Из всего написанного о Толстом у Шестова наиболее интересны, — и отмечены какой-то заразительной, кровной страстностью, — размышления о «Записках сумасшедшего», короткой посмертной толстовской повести, вещи в самом деле глубоко замечательной, много более замечательной — скажу мимоходом, — чем одноименная знаменитая повесть Гоголя. В чем содержание толстовских «Записок сумасшедшего»? В том, что герой этого, несомненно, автобиографического рассказа внезапно, ночью, в номере бедной уездной гостиницы, делает страшное, всего его потрясающее открытие: в жизни нет смысла, есть только ужас и страх, которых не видят в житейской суете люди, считающиеся нормальными...

«Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибшую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, — такая же тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерть страшна, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать... Рвется что-то, а не разрывается».

Для Шестова в эти строках — «ключ к творчеству Толстого».

Однако, — тут же замечает он, — «Если серьезно принять то, что рассказано в «Записках сумасшедшего», то выхода иного нет: нужно либо отречься от Толстого и отделить его от общества, как

в средние века отделяли больных проказою или иной страшной прилипчивой болезнью, либо, если признать его переживания закономерными, ждать и трепетать ежеминутно, что и с другими произойдет то же, что с ним, что «общий всем мир» распадется, что люди из бодрствующих обратятся в сновидцев и у каждого человека не во сне, а наяву будет свой собственный мир.

Здравый смысл и выросшая из здравого смысла наука не может колебаться пред такой дилеммой. Прав не Толстой с его беспредметной тоской, беспричинными страхами и безумными тревогами. Прав «общий мир» с его твердой верой и прочными, вековыми, спокойными, всем равно доступными, ясными и отчетливыми истинами. Если бы речь шла не о прославившемся на весь мир писателе, судьба Толстого была бы решена: он был бы извергнут из общества, как больной и крайне для всех опасный человек. Но Толстой — гордость и слава России, с ним нельзя так решительно поступать. Как ни явно нелепо и неприемлемо то, что он говорил, его продолжают слушать, с ним продолжают даже считаться» («На весах Иова»).

Эти строки, в особенности при рассеянном чтении, могут ввести в заблуждение. Может почудиться, что Шестов искренне и без малейшей иронии говорит о «нелепости», о «неприемлемости» толстовских ночных мыслей. На деле однако он придает им значение гораздо большее, чем любым, самым возвышенным рассуждениям, — в сущности для него Толстой только потому и Толстой, что после «Казаков» и «Войны и мира» подобные мысли могли прийти ему в голову! Правда, в «Войне и мире» некоторые недоумения Пьера Безухова после бородинского сражения уже были для Шестова той музыкой, к которой он всегда особенно страстно и сочувственно прислушивался. Но панорама в целом казалась так широка и великолепна, что эти отдельные редкие прорывы в неизвестность могли быть признаны случайными. А тут не то: тут самая «Война и мир» взята под сомнение... Зачем? К чему? Кто сумасшедший, тот, кто видит правду, или те, кто тешатся и утешаются иллюзиями? Ведь если дважды два пять, то пожалуй и «Война и мир» — лишь никчемная, детская размалеванная картина, без смысла и истинного содержания? Шестов этого не допускает, он от таких утверждений бесконечно далек, но то, что Толстой договорился до ужасных сомнений «Записок сумасшедшего», открывает для него в «Войне и мире» или в «Анне Карениной» новую глубину. Разумеется, и «Смерть Ивана Ильича» для него — произведение ценнейшее, независимо от художественных достоинств повести (в художественном отношении Шестов, кажется, выше всего ставил «Хозяина и

работника», называя этот рассказ «ником в русской литературе не превзойденной вещью»). Вот, — как бы говорил Шестов, — писатель, который, по общему признанию, правдивее и глубже всех других изобразил жизнь. Нельзя не верить ему. Он был счастлив в своем личном существовании, у него не было — как могло быть у Достоевского, — повода клеветать на бытие, называть черным то, что всем представляется белым. На вершине славы, окруженный почетом, после всех своих удач, житейских и творческих, он должен был бы признать мир разумным, должен был бы в согласии с Творцом сказать, что «все добро зело». Посмотрите, однако, на него, вслушайтесь в то, что он внушает: «не хочу-у-у», — как кричал перед смертью Иван Ильич. Нередко люди простодушные говорят: «кажется, если бы я писал, то писал бы именно как Толстой...». Проницательнейший французский критик Шарль дю-Бос заметил по поводу «Войны и мира»: «Если бы жизнь могла писать, она писала бы именно так». Главнейшие толстовские книги — как будто утверждение того, что дважды два четыре, притом в метафизическом смысле: иначе откуда бы эта роскошь и величавость вдохновения? Но Шестов подстерегает Толстого не на основной, столбовой дороге его творчества, а на окольных тропинках, и неожиданно находит в нем могучего союзника для самых мучительных своих догадок.

О Достоевском и говорить нечего. «Записки из подполья» для него — документ необычайной важности, истинная «критика чистого разума», не в обиду будь сказано Канту, да и в «Бесах» главный герой для Шестова не Ставрогин, не Верховенский, а Кириллов — лицо эпизодическое, «великий и загадочный молчальник», как Шестов его характеризует.

«Эпизод с Кирилловым по силе, глубине и выразительности того, что на нашем языке называется неизреченным, может быть отнесен к шедеврам мировой литературы. Заявить своеволье!.. Остановиться и поставить, наконец, вопрос: да точно ли наш человеческий мир, тот мир, тот мир, который создан коллективным опытом, есть единственно возможный мир и точно ли разум с его законами властвует над людьми». («Преодоление самоочевидностей»).

У Достоевского Шестову не приходилось отделять существенное от второстепенного, прозрачное от подлинного, как заставляет его делать это Толстой. Достоевский уводит его так далеко, что порой колеблется следовать за ним даже он, Шестов, как будто опасющийся: стоит ли изменять своим сомнениям ради новой, пусть и безумной веры? Вправе ли кто-нибудь утверждать, что дважды

два наверно не четыре? Не окажется ли в конце концов последняя лезть горше первой?

Чехов мог бы остаться Шестову сравнительно чужд, не обрати тот внимания на особую сторону его творчества, «безнадежную», по шестовскому определению.

«Творчество из ничего», статья Шестова о Чехове, по мнению Бунина, не раз им настойчиво высказывавшемуся, — лучшее, что о Чехове вообще написано. Бунин возмущался попытками представить Чехова, как художника благодушно-сладковатого, «певца хмурых людей», обещавшего этим хмурым людям «небо в алмазах», склонного к унынию, слезливости и расплывчатой лирике. У Шестова Чехов — писатель твердый, беспощадный, и этот образ Чехова совпадал с представлением, сложившимся в памяти Бунина. «Жестокий талант» — знаменитое определение, данное Михайловским Достоевскому (кстати, близкое тому, что сказал о Достоевском Тургенев: «наш маркиз де Сад»). По пересказу и комментариям Бунина к статье Шестова могло показаться, что и у Чехова были черты подлинной жестокости.

Но Шестов не совсем-то о Чехове говорит. Правда, он признает в Чехове «удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди».

«В этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до виртуозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе. Я без колебания ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось делать напряжение, чтобы справиться со своей жертвой. От Мопассана жертва сплошь да рядом уходила помятой и изломленной, но живой. В руках Чехова все умирало».

Утверждение это совершенно правильное. Неправильно только было бы счесть, что чеховской «жертвой», по Шестову, был человек, человеческая личность. Нет, в этом смысле признать Чехова «жестоким талантом» никак нельзя... Чехов жесток не к людям, а человеческим верованиям, к человеческим иллюзиям, ко всякого рода мировоззрениям и миросозерцаниям. Здесь, в этой области, он в самом деле беспощаден, — и не случайно Шестов без конца возвращается к «Скучной истории», где старый профессор в ответ на мольбу Кати:

«Вы умны, образованны, вы долго жили, вы были учителем... что мне делать?»

Отвечает:

«По совести, Катя, не знаю... давай, Катя, завтракать!»

У Чехова не остается и следа «огоньков» впереди, ни короленковских, ни каких-либо других. Но всякий, читающий Чехова без предубеждения, согласится, что сочувствия и снисхождения к человеку у него больше, нежели у какого-либо другого русского писателя

Чехов к человеку бесконечно менее требователен, чем Толстой, Достоевский или даже Гоголь. Он знает, что сил у человека не так много, как думали его великие предшественники. Он не ждёт от человека никакого подвижничества и, не скрывая от него пустоты жизни, готов все сделать, чтобы жизнь сама по себе не была сплошной болью и мукой. В этом смысле характеристика, данная Чехову Шестовым, характеристика глубокая и меткая, — ничуть не противоречит сложившемуся о Чехове представлению, как о писателе, которому многое в его в творчестве подсказано сердцем. Как послесловие к великой русской литературе прошлого явление Чехова оправдано, естественно и логично: правда, послесловие, вывод могли бы оказаться и иными, но и в этом ослабленном виде они связаны с былыми темами, былыми мыслями и вопросами, и заключают в себе отклик на них. Шестов витает вокруг Чехова, как будто вокруг «жертвы», — пользуясь его же образом. Он с увлечением обрывает и уничтожает все, что к «жертве» приросло, все, что было ей чужими домыслами навязано. Но уходит она от него живой, да у Шестова и не было, по-видимому, ни стремления к другому выводу, ни расчета на него.

Он был крайне далек от любопытства к каким-либо опытам над человеком. Он удовлетворен бывал лишь тогда, когда ему удавалось показать, в какой тупик зашли наши вековечные надежды и убеждения.

Адамович Г. *Одиночество и свобода.*  
Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955. С. 251–270.

«Переписка из двух углов» (Пг.: Алконост, 1921), написанная Вяч.Ивановым и М.Гершензоном в форме писем друг к другу 17 июня–19 июля 1920 года, когда они жили в одной комнате «здравницы для переутомленных работников умственного труда» в Москве.

«все добро зело» — Быт 1, 31.

...предположение героя «Записок из подполья» насчет того, что дважды два, пожалуй, вовсе не четыре, а пять... — У Достоевского: «Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица» (Записки из подполья. I. IX).

«дивной, загадочной земной жизнью» — неточная цитата из третьего действия драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899).

...»*Записки из подполья*... истинная «критика чистого разума»... — См. обстоятельное сравнение «Критики чистого разума» и романа «Братья Карамазовы» в книге Голосовкера «Достоевский и Кант» (М., 1963).

«*Творчество из ничего*» — статья Шестова о Чехове была впервые напечатана в сборнике «Начала и концы» (СПб., 1908); позже републикована в альманахе «Мосты» (1960. № 5. С. 121–150) со вступительной заметкой Адамовича «По поводу статьи Шестова “Творчество из ничего”».

...*статья Шестова о Чехове, по мнению Бунина, не раз им настойчиво высказывавшемся, — лучшее, что о Чехове вообще написано...* — В воспоминаниях Бунин писал о Чехове: «Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом» (Бунин И. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 90).

«*Жестокий талант*» — статья Н.К. Михайловского о Достоевском, опубликованная в «Отечественных записках» (1882. № 9–10).

«*наш маркиз де Сад*» — соглашаясь со статьей Михайловского «Жестокий талант», Тургенев сравнивал творчество Достоевского с произведениями маркиза де Сада в письме М.Е. Салтыкову от 24 сентября 1882 г. и в письме П.В. Анненкову от 25 сентября 1882 г. (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 13. Кн. 2. С. 49 и 51).

«*По совести, Катя, не знаю... давай, Катя, завтракать*» — Чехов А.П. Скучная история. VI.

«*огоньков впереди*» — Имеется в виду популярное в начале века стихотворение в прозе Короленко «Огоньки» (1900): «Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью... Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, и они еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди — огни!» (Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1953. Т. 1. С. 379).

### Из письма Г.В. Адамовича Б.К. Зайцеву 18 февраля 1958 г.

<...> в книге у меня об этом сказано не ясно, плохо. Я ведь там писал о Чехове, говоря о Шестове, и Шестова превознося. Вот и получилось будто бы согласие с ним, хотя и с оговорками. Кроме того, я постоянно, десятки раз слышал от Бунина, что это — единственно верная статья о Чехове, и что Чехов именно «жестокий талант». Этому я и поддался, очевидно. Но я думаю, что в самом деле Чехов ни во что не верил (в смысле идей, «прогресса» и т. п.) и сам себя убаюкивал тем, что говорит у него полк. Вершинин. В этом — хоть и только в этом — Шестов был прав. Но это вовсе не нигилизм. Нигилизм ведь есть скорее *нежелание* что-либо хорошее видеть, чем *невозможность* этого. А у Шестова я действительно когда-то был «во владычестве», но очень давно. Еще гимназистом я прочел его «Апофеоз беспочвенности», и долго был от него без ума. Теперь перечитал с удивлением: очень

много крикливого, цветистого, чего в поздних книгах Шестова нет. <...>

*Ms Coll Zaitsev. Bakhmeteff Archive.  
Columbia University. New York. USA.*

Письмо написано в ответ на статью, в которой Б.К. Зайцев выразил несогласие с мнением Адамовича: *Зайцев Бор.* Дни: «Творчество из ничего»: Вновь Чехов // Русская мысль. 1958. 15 февраля. № 1174. С. 2–3.

**Маклаков и Толстой**  
**(Отрывок из готовящейся книги «В.А. Маклаков»)**

<...> Утверждая, что в ряду тех, кто о Толстом писал, можно найти авторов более оригинальных, чем Маклаков, я вовсе не какого-либо гениального фантазера имею в виду. Нет, но нельзя забыть, например, Льва Шестова, писателя редкостно пронизательного, упорно и успешно доискивавшегося того, что от большинства людей скрыто. <...>

*Новое русское слово. 1958. 20 июля. № 16558. С. 8.*

**Подарок Пастернаку (Альманах «Воздушные пути»)**

<...> юношеский очерк Льва Шестова о Пушкине еще проникнут той условностью в суждениях, от которой он позднее избавился. Не случайно статья эта больше полувека пролежала в архиве мыслителя, которого по справедливости следовало бы причислить к самым пронизательным и оригинальным русским литературным критикам. <...>

*Новое русское слово. 1959. 6 декабря. № 17062. С. 8.*

...юношеский очерк Льва Шестова... — Шестов Л. А.С. Пушкин // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 51–66. Статья была написана в 1899 г., но опубликована лишь посмертно с редакционным примечанием: «Нам известно, что статья нигде раньше не печаталась, и что она относится к началу литературной деятельности Шестова. Рукопись была подарена семьей покойного автора редактору для этого альманаха».

### «Толстой» Анри Труайя

<...> о равенстве Толстого и Достоевского, как двух вершин русского романа, речь зашла лишь в нашем столетии, и положила начало этому известная книга Мережковского о «тайновидце плоти и тайновидце духа». Труайя об этой книге упоминает. Любопытно сопоставить его указание, что книга эта была Толстому неприятна, с тем, что рассказывал Лев Шестов, вспоминая свою поездку в Ясную Поляну.

Шестов спросил Толстого:

— Какого вы мнения о книге Мережковского?

О какой книге Мережковского?

— Как, вы не читали его «Толстого и Достоевского»? Об этой книге сейчас все говорят.

Не знаю, не помню... Многое пишут, всего не прочтешь.

Я слышал от Шестова этот рассказ уже здесь, в Париже. В том, что Толстой был искренен, у него не было ни малейших сомнений. «Если и читал, то забыл, — говорил Шестов. — Не все ли было ему равно, что о нем думает Мережковский?».

*Русская мысль. 1965. 27 апреля. № 2300. С. 4–5.*

### Литература и жизнь

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения Льва Шестова, замечательного русского мыслителя.

Трудно в нескольких словах передать впечатление, которое производили его книги на людей, начавших жить сознательной жизнью ко времени первой мировой войны, — в частности, его «Апофеоз беспочвенности». Мы, может быть, не все понимали в шестовских недоумениях, догадках, намеках, блужданиях. Но мы были увлечены бесстрашием его мысли, неизменным его стремлением дойти до самой сущности иных вопросов, — в особенности, если это был вопрос «проклятый», — его отказом от всякой лжи и привычных условностей. У меня нет сейчас под рукой «Апофеоза», а читал я его очень давно. Помню, однако, что эпитафией к одному из отделов стояло короткое предостережение, взятое автором из немецкого путеводителя по Альпам: «только для тех, кто не страдает головокружением». Головокружение иногда возникало. Но сладостно было в ранней юности бродить по этим высотам, дышать

ледящим воздухом близкой, хоть и ускользающей философской истины, улавливать вместе с Шестовым в творениях Платона или Ницше, Ибсена или Толстого то, чего мы не находили в учебниках и благонамеренных школьных руководствах.

В эмиграции я встречался с Шестовым довольно редко. Но с первой же встречи меня поразила его уравновешенность, какая-то умудренность, сквозившая в его облике и плохо вязавшаяся с давними моими, еще полудетскими впечатлениями от его писаний. Ум его, несомненно, остался по-прежнему пытливым. Но работа этого ума как будто ушла вглубь, утратила былой вызывающий и несколько высокомерный характер. Он уже не отстранял тех, кто подвержен головокружениям. Казалось, ему нет до них дела. Он тихо сидел в кресле и думал, думал, думал... в то время как вокруг шла обычная житейская и литературная суета, со всем ее вздором, мелочностью, борьбой самолюбия и прочим. Думал потому, что не думать не мог, как сердце в пушкинском стихотворении не может не любить.

К чему устремлены были его мысли? Существуют, и всегда будут существовать, мыслители, предлагающие объяснение бытия и позволяющие своим последователям избавиться от метафизической тревоги. Сохранился рассказ, — не помню точно, в чьих записках, — об одном русском барине-помещике, которому в сороковых годах, по приезде его в Москву, в полчаса растолковали новую, сводившую тогда наших предков с ума философию Гегеля, — в ответ на что он восторженно воскликнул:

— Так, так... значит, вот оно что! Ну, теперь мне все ясно.

Это, конечно, юмористика, но крайне показательная. В наш век то же самое могло бы случиться с человеком, которому вкратце (и, разумеется, с неизбежными искажениями) растолковали бы Бергсона или последнего по времени «властителя дум», Тейяр де Шардена. Вера слилась бы со знанием, ключ к вечным загадкам казался бы найден.

Недопустимо и нелепо было бы заниматься в области мышления установлением табели о рангах, в особенности по признаку цельности и законченности высказанных суждений. Каждый выражает свое, то, что заложено в его сознании. Но бесспорно Шестов был мыслителем совсем иного склада. Он почти маниакально был обращен к разоблачению мнимых достоверностей, он был одушевлен, и до известной степени даже измучен, ощущением трещинок в великих философских системах. Гегеля, например, он высоко чтит. Но не было для него большего удовлетворения, как поймать того же

Гегеля на какой-нибудь «неувязке», обнаружить противоречие, угадать за этим противоречием нечто более таинственное, нежели то, что уложилось в стройные и красноречивые размышления. Эта же черта заметна и при обращении Шестова к литературной критике. Он мог бы стать подлинным украшением нашей критики, — этой бедной, скудной области русской литературы, — если бы усерднее и чаще критикой занимался. Но и то, что он в ней оставил, в высшей степени своеобразно и ценно. Напомню, кстати, что Бунин неизменно отзывался о его статье о Чехове «Творчество из ничего», как о самом пронизательном, что о Чехове вообще написано. Замечательны и размышления Шестова о Толстом, о Достоевском. Надо только заранее примириться с тем, что величие «Войны и мира» или «Карамазовых» для него подразумевается само собой, что разбором их он заниматься не склонен, а, наоборот, всю страсть своего ума обращает у Толстого, скажем, на «Записки сумасшедшего», этот удивительный автобиографический рассказ, ставящий под сомнение все человеческое творчество, а у Достоевского на «Записки из подполья». Перед художественным гением этих писателей Шестов преклонялся, но нужны они ему были главным образом как союзники в утверждении, что мир не совсем таков, каким мы его считаем, что истина не совсем там, где мы ее ищем, словом, что все в жизни сложнее, страшнее и загадочнее, чем нам хотелось бы.

Недавно по французскому радио было несколько передач о Бергсоне, в связи с двадцатипятилетием со дня его смерти. Один из участников этих интереснейших собеседований несколько раз с глубоким уважением упомянул о Шестове, охарактеризовав его философию как «трагическую». Да, такой она действительно была, потому что была безысходна. Но никто не вправе обходить ее из-за этого молчанием, и мысль невольно обращается туда, в Россию, где никто о Шестове не вспомнил, где молодежь едва ли знает самое имя его, где в виде умственной пищи ей предлагают сухие, выхолощенные прописи, где культура отождествляется с партийностью.

Настанет когда-нибудь день, и под напором тех сил, которые бродят в новых поколениях, все это рухнет, — но когда? И как тягостен, как долог будет процесс оздоровления, освобождения от схем, в течение полувека внедрившихся в русские сознания!

*Русская мысль. 1966. 26 февраля. № 2431. С. 1–2.*

*...сто лет со дня рождения Льва Шестова. — Л.И. Шестов родился 31 января (12 февраля) 1866 г.*

«Апофеоз беспочвенности» — основополагающая книга Л.И. Шестова, опубликованная в 1905 г.

...эпиграфом к одному из отделов стояло короткое предостережение, взятое автором из немецкого путеводителя по Альпам: «только для тех, кто не страдает головокружением». — Вторая часть «Апофеоза беспочвенности» открывалась эпиграфом: «Nur für Schwindelfreie! (Из альпийских воспоминаний)».

В эмиграции я встречался с Шестовым довольно редко... — Н. Баранова-Шестова в своей книге приводит отзывы Л.И. Шестова о статьях Адамовича, а также сведения об их встречах на парижских собраниях: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников: В 2 т. Paris: La Presse Libre, 1983. указ.

...как сердце в пушкинском стихотворении не может не любить. — отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829).

Бунин неизменно отзывался о его статье о Чехове «Творчество из ничего», как о самом пронзительном, что о Чехове вообще написано. — У И.А. Бунина: «Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощадным талантом» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955. С. 116).

...всю страсть своего ума обращает у Толстого, скажем, на «Записки сумасшедшего», ~ а у Достоевского на «Записки из подполья». — Об этих произведениях Л.И. Шестов пишет в первых двух главах книги «На весах Иова» (Париж: Современные записки, 1929): «Преодоление самоочевидностей» (К столетию рождения Ф.М. Достоевского), «На страшном суде» (Последние произведения Л.Н. Толстого).

## О чем говорил Чехов

<...> Бунин ссылался на статью Льва Шестова «Творчество из ничего» и выделял ее из всего о Чехове написанного, считая эту статью чуть ли не единственной верной. Статья действительно глубокомысленная, как, впрочем, и все то, что Шестов о литературе писал. Но сказал Шестов не совсем то, что Бунин у него нашел.

По Шестову Чехов одушевлен был страстью уничтожения. «В руках Чехова все умирало». Это подмечено правильно, но если тут и есть беспощадность, то обращена она исключительно на взгляды, идеи, теории, системы, принципы, никак не на самого человека. Наоборот, человек, оставшись без привычной опоры, вдвойне заслуживает помощи. Замечательно, между прочим, что пока Чехов не садился за письменный стол, пока Аполлон не требовал его «к священной жертве», он разделял, по-видимому, распространенные в его время и в его среде обычные позитивистические убеждения, считал необходимым верить в прогресс, в разум, во всемогущество науки и все другое, по обычной схеме. Но в творчестве его от этой веры не

осталось и следа, и Шестов метко определил идейное содержание этого творчества как вышедшее «из ничего». Однако все-таки не совсем «из ничего», — ибо нельзя считать «ничем» сочувствие людям, круговую поруку, всех людей связавшую перед лицом «судеб», от которых по Пушкину «защиты нет».

Бунина мутило от «душевной теплоты», в самом деле тошнотворной, которую критики Чехову приписывали, мутило от «неба в алмазах», и тут он прав, тысячу раз прав, как бы ни было нам порой жаль расставаться с былыми привязанностями и далекими, юношескими восторгами: это чеховское стихотворение в прозе действительно тягостно, как, впрочем, и многое другое в чеховских пьесах, где, очевидно под воздействием театрального окружения, он утратил свой природный, абсолютный слух к фальши и правде (если только не пошел на уступки сознательно и умышленно, как бы махнул рукой). В пьесах своих, в монологах с «алмазами» Чехов нажал педаль (чего, кстати, не слышит и не чувствует почти никто из иностранных его поклонников, даже самых взыскательных). Но мелодия в них та же, что и в рассказах, хотя там, в рассказах, она чище, — потому что свободна от досадных лирических фиоритур.

Надо бы привести примеры, надо бы для вящей убедительности подкрепить свои соображения цитатами, как принято это делать, — несмотря на давно уже подмеченный факт, что цитаты, произвольно вырванные из текста, бывают у больших писателей очень противоречивы.

Нашим критикам, в том числе и Льву Шестову, особенно полюбилась в качестве образца «Скучная история», с ее старым профессором, не знающим, что сказать в утешение и назидание несчастной, растерянной молодой девушке. «Давай, Катя, завтракать»: вот и вся его мудрость в результате множества ученых трудов и всеевропейской славы.

Шестов считал, что «Скучной истории» не было бы без «Смерти Ивана Ильича». Бунин по этому поводу написал в своей книге о Чехове: «не знаю», с выразительным многоточием. Не относится ли, однако, его сомнение лишь к категоричности шестовского указания на полнейшую зависимость Чехова от Толстого?

*Новый журнал. 1959. № 58. С. 135–142.*

### По поводу статьи Шестова «Творчество из ничего»

Лев Шестов мог бы стать одним из самых выдающихся и прощительных русских литературных критиков нашего века. Пишу «мог бы стать», а не «был», потому что литературе — особенно во второй половине жизни — он уделял сравнительно мало внимания, и что мысль его была занята вопросами преимущественно философскими. Жалеть об этом было бы нечего: то, что Шестов дал в философии, настолько оригинально и обнаруживает ум настолько пытливый, тревожный и смелый, что должно бы, как говорится, войти в нашу национальную духовную сокровищницу. Но обидно все-таки, что в литературной критике он был лишь дилетантом, или точнее — гастролером — обидно тем более, что критика — едва ли не беднейшая, самая скудная и по уровню своему самая элементарная часть русской литературы.

Мы нередко говорим о том или ином «великом» русском критике, — в частности, о Белинском. За Белинским, разумеется, очень большие исторические заслуги: он первый расставил крупнейших русских писателей по принадлежащим им местам и сделал это и авторитетно, и почти безошибочно. Белинский уловил и понял гениальность Лермонтова, почувствовал что-то необычайное в юном Достоевском.... Это бесспорно. Но все-таки, если Пушкин — великий поэт, если Толстой — великий романист, то применять тот же эпитет к писаниям Белинского можно лишь с оговоркой насчет крайней растяжимости понятия «величия». К писаниям его учеников и последователей — тем более. В большинстве случаев они по существу были не столько критиками, сколько публицистами, и, не имея по цензурным условиям возможности высказывать свои политические и социальные суждения открыто, прямо, прибегали с этой целью к разбору романов или повестей. Особенно это очевидно у Добролюбова, — например, в знаменитой статье «Что такое обломовщина». Критики иного, более консервативного лагеря были к художественному творчеству внимательнее и оставили образцы подлинного критического анализа, — как разбор романов Толстого, сделанный К. Леонтьевым, или статьи Н.Н. Страхова, правда, несколько вялые, будто анемичные, но порой, в отдельных замечаниях, тончайшие. Однако влияния они не имели и откликов не вызвали. Многоликий, нарицательный Скабичевский голоса их заглушал — и заглушил.

В наш век нарицательный Скабичевский популярность свою утратил, — если не в советской России, где он успешно «перестро-

ился» на новейший лад, то, по крайней мере, в эмиграции и вообще в интеллигенции, сложившейся до революции. Но убогость русской критики осталась приблизительно той же, какой была прежде, и толстовское определение ее — «критика — это когда глупые пишут об умных» — по-прежнему верно. Конечно, были исключения. Но ни одного исключения решающего, несомненного, окончательного назвать нельзя, — кроме дилетантов или, скажу еще раз — гастролеров, которые напишут одну или две статьи и тут же переходят к делам, представляющимся им более важными.

Лев Шестов мог бы стать перворазрядным критиком, если бы вопрос о природе человеческого разума и об основательности претензии этого разума на всесилие и всезнание не волновал его гораздо больше, чем литература сама по себе. У него было острое чутье, острый слух, но подходил он к литературе со своих неизменных общих позиций и обращался лишь к тем писателям, которые давали для его раздумий нужную пищу. Только те писатели его и вдохновляли, которые имели какое-то касательство к его постоянному, измучившему, духовно его истерзавшему предположению-догадке, что дважды два вовсе не обязательно четыре, со всеми выводами отсюда: Достоевский, Толстой, Ибсен (о нем он написал замечательную, к сожалению, совсем забытую статью), вдалеке — Шекспир, о котором по справедливости, от лица человечества, можно бы сказать, что это — «наше все», как сказал это от лица России о Пушкине Аполлон Григорьев. Наконец — Чехов.

Статья «Творчество из ничего» написана давно, сразу после смерти Чехова. Сейчас она едва ли покажется парадоксальной, как должна была показаться пятьдесят лет тому назад, когда о Чехове говорили как о «мягком, нежном лирике», о «поэте сумеречных настроений» и «певце хмурых людей». Шестов характеризует Чехова как писателя беспощадного и признает у него «удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди».

«В руках Чехова все умирало», — утверждает он.

Верно ли это? Бунин считал, что верно, и настойчиво выделял статью Шестова из всего, что вообще о Чехове было написано. Однако если сопоставить то, что он сам о Чехове сказал, с тем, что сказал Шестов, обнаруживается противоречие: Бунин приписывал Чехову суровость, жестокость по отношению к людям, Шестов же говорит лишь о человеческих верованиях, об иллюзиях, о «цельных» и «стройных» мировоззрениях и мирозозерцаниях, от которых Чехов не оставляет камня на камне. Жалости к людям он у

Чехова не отрицает и даже склонен счесть, что человек, у которого иллюзии отняты, больше нуждается в помощи и сочувствии, чем тот, который видит «огоньки впереди». Неслучайно он из всех чеховских повестей и рассказов охотнее всего останавливается на «Скучной истории», где бедный старый профессор на вопрос Кати «что делать?» отвечает «не знаю... по совести, Катя, не знаю», — не потому, что ему до Катиных мучений и недоумений нет дела, а потому, что он не хочет ее обманывать. «В руках у Чехова все умирало»: да, умирали надежды, разлагался упрощенный, наспех найденный «смысл жизни», но и только. Люди не умирали, и во всяком случае в пропасть Чехов их не толкал. Шестов в суждениях о Чехове — лишь частично союзник Бунина и оставляет его на полдороге. По-видимому, сам Бунин убедился в этом, когда в последние годы жизни перечитал «Творчество из ничего»: расхождение запечатлено в тех оговорках, которые воспроизведены в посмертной бунинской книге, Чехову посвященной.

Как бы то ни было, статья Шестова в высшей степени содержательна и своеобразна. Надо бы желать, чтобы с ней ознакомились советские читатели: она заставит их взвесить, проверить, пересмотреть те стереотипные фразы о художнике, будто бы «звавшем к светлому будущему» — фразы, столь же ребяческие и фальшивые, как и былая болтовня о «певце сумеречных настроений», — которые в московской печати обязательны, Чехов — явление сложное, в духовном смысле двоящееся, мало отчетливое. Статья Шестова сложность эту вскрывает и, соглашаясь с ней или нет, побуждает о многом задуматься. А в чем же ином назначение критики? Лишь в редчайших, исключительных случаях критик вправе счесть себя учителем. Зато собеседником, как бы вслух думающим, принимающим за свои слова ответственность, предлагающим вопросы, на которые сам не нашел ответа, критик должен быть всегда. Шестов в качестве критика тем и ценен, что мыслит бесстрашно и самостоятельно, к этому же приглашая и нас.

*Мосты. 1960. № 5. С. 117–120.*

### Table talk

Мережковский и Лев Шестов не любили друг друга, а полемизировать начали еще в России, — из-за Толстого и его отношения к Наполеону. Книга Мережковского «Толстой и Достоевский» —

о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа» — прогремела в свое время на всю Россию.

Шестов, уже в эмиграции, рассказывал:

— Был я в Ясной Поляне и спрашивал Льва Николаевича: что вы думаете о книге Мережковского? — О какой книге Мережковского? — О вас и о Достоевском. — Не знаю, не читал... разве есть такая книга? — Как, вы не прочли книги Мережковского? — Не знаю, право, может быть и читал... разное пишут, всего не запомнишь.

Толстой не притворялся, — убедительно добавлял Шестов. Вернувшись в Петербург, он доставил себе удовольствие: при первой же встрече рассказал Мережковскому о глубоком впечатлении, произведенном его книгой на Толстого.

*Новый журнал. 1961. № 64. С. 103–116.*

Несколько лет спустя Адамович еще раз пересказал этот эпизод, с некоторыми вариациями: «О равенстве Толстого и Достоевского, как двух вершин русского романа, речь зашла лишь в нашем столетии, и положила начало этому известная книга Мережковского о «тайновидце плоти и тайновидце духа». Труайя об этой книге упоминает. Любопытно сопоставить его указание, что книга эта была Толстому неприятна, с тем, что рассказывал Лев Шестов, вспоминая свою поездку в Ясную Поляну.

Шестов спросил Толстого:

— Какого вы мнения о книге Мережковского?

— О какой книге Мережковского?

— Как, вы не читали его «Толстого и Достоевского»? Об этой книге сейчас все говорят.

— Не знаю, не помню... Много пишут, всего не прочтешь.

Я слышал от Шестова этот рассказ уже здесь, в Париже. В том, что Толстой был искренен, у него не было ни малейших сомнений. «Если и читал, то забыл, — говорил Шестов. — Не все ли было ему равно, что о нем думает Мережковский?» (Адамович Г.В. «Толстой» Анри Труайя // Русская мысль. 1965. 27 апреля. № 2300. С. 4–5).

### **Оправдание черновигов**

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без ее отдаленного присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти — строками, которые настолько поразили и даже околдовали Шестова, что он без конца их цитиро-

вал и на них ссылался. Правда, по Платону, смерть — источник и побуждение философии. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, к чему поэзия, о чем поэзия?

*Новый журнал. 1965. № 81. С. 92.*

### **Памяти Льва Шестова**

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения Льва Шестова, замечательного русского мыслителя. В связи с этим было бы естественно дать его краткую характеристику, перечислить его главнейшие труды, сказать несколько слов о его влиянии на тех или иных западных философов. Шестов провел вторую половину своей жизни во Франции, где выпустил целый ряд книг. Столетие со дня его рождения было в Париже отмечено газетными статьями, передачами по радио при участии видных ученых и писателей. В Оксфордском университете было устроено собрание его памяти. У меня нет сведений о том, что было сделано в Америке, но не сомневаюсь, что и там о Шестове в эти дни вспомнили с уважением и признанием. И только на его родине не было ни произнесено, ни написано о нем ни слова, будто такого русского мыслителя никогда и не существовало! Молодежь в Советском Союзе едва ли знает самое имя Шестова, и там сделано все возможное, чтобы так дело и обстояло. Но, вероятно, находятся пытливые, умственно встревоженные, духовно изголодавшиеся молодые люди, которым в какой-нибудь библиотеке удалось разыскать хотя бы только шестовский «Апофеоз беспочвенности» и провести над этой удивительной книгой (вышедшей в Москве более полувека тому назад) несколько плодотворных для своего развития часов. Увы, это — одиночки. Огромному же большинству молодежи Шестов, конечно, совершенно не известен, как неизвестен молодежи, например, Розанов, один из самых даровитых и оригинальных русских писателей двадцатого столетия, как неизвестен ей Константин Леонтьев, пусть и крайний консерватор, крайний, непоколебимый реакционер, если угодно даже черносотенец, но человек исключительного ума и таланта, человек исключительной искренности, которого при всем различии во взглядах высоко ценил Лев Толстой. Шестов, надо бы указать, не только не был творцом какой-либо стройной философской системы, но, вдумываясь и вглядываясь в системы, созданные до него, настойчиво, страстно стремился

обнаружить в них внутреннее противоречие или хотя бы только трещину. Доверия к системам у Шестова не было. Он был широко образованным чело веком, и упрекнуть его в недостатке внимания к великим метафизическим построениям прошлых эпох было бы невозможно. Начиная с Платона, он тщательно изучил и древних, и новых философов и разбирался в их творчестве безошибочно. Перед многими из них — и, в частности, перед тем же Платоном, — он глубоко преклонялся. Но особенно тянуло его к мыслителям, мучительно искавшим ответа на те вопросы, которые в былой русской литературе принято было называть «проклятыми». Мир, по убеждению Шестова, бесконечно загадочнее, чем в простодушии своем люди обычно думают; загадочнее, чем даже самый смелый и развитой ум в силах себе представить, — и доказать он хотел не какую-нибудь истину, а только то, что истина, так сказать, *истинная* истина — неуловима и недоказуема. В «Апофеозе беспочвенности», той ранней шестовской книге, о которой я уже упоминал, есть отдел, снабженный эпитафией: «Для тех, кто не подвержен головокружению». Некоторые догадки Шестова способны были головокружение вызвать, и не случайно союзниками и учителями своими он считал не солидных, добросовестных профессоров философии, а тех великих писателей, которые из круга «проклятых» вопросов не в силах были выйти, и прежде всего — Толстого и Достоевского. Нет ни одной книги, ни одной статьи Шестова, где он к творчеству Толстого или Достоевского не возвращался бы, связывая некоторые их темы с мыслями, нашедшими отражение то у Канта или Гегеля, а то даже у философов-экзистенциалистов, привлечших к себе внимание лишь в последние десятилетия.

Добавлю, что Шестов был бы, вероятно, одним из самых пронзительных наших литературных критиков, если бы усерднее критикой занимался. Он писал прекрасным чистым русским языком, избегая стереотипных газетных выражений и мертвящего ученого жаргона. Он мимоходом делал о литературе и даже о поэзии своеобразные, всегда тонкие замечания. Есть у него и критические очерки, полностью посвященные тому или иному художнику, например, Ибсену и Чехову. Кстати, советским поклонникам Чехова, вероятно, интересно будет узнать, что Бунин считал статью Шестова о Чехове «Творчество из ничего» самым верным, лучшим и глубоким из всего, что о Чехове до сих пор вообще написано, хотя статья эта появилась очень давно — сразу после смерти автора «Вишневого сада». Бунин, связанный с Шестовым отдаленным свойством, дружил с ним и отзывался о нем с неизменным восхи-

щением. «Что за человек!» — повторял он, удивляясь его уму, его скромности, готовности внимательно выслушивать любые, даже самые наивные возражения. А вот в Советском Союзе о таком человеке забыли. Надо бы вспомнить о нем, а вместе с ним и о других забытых. Не для согласия, которое вовсе не обязательно, порой даже нежелательно, а для расширения кругозора, для понимания того, как многообразен духовный мир человечества.

*Адамович Г. О книгах и авторах:  
Заметки из литературного дневника.  
Париж, 1967. С. 15–17.*

### **Из письма Г.В. Адамовича Т. Николеску 24 июня 1969 г.**

Философские течения в русск.<ой> эмиграции? Бунин никакого интереса к ним не проявлял — как и к философии вообще. Исключение, пожалуй, одно — Лев Шестов. Но и его он любил не как философа, а как человека, часто у него бывал, т. к. был с ним в свойстве. Ценил Ф. Степуна, но тоже скорей как собеседника (в Грассе), чем как писателя.

*И. А. Бунин: Новые материалы.  
Вып. I. М.: Русский путь, 2004. С. 361.*

*Составление, примечания О.А. Коростелева*